ЛИЧНЫЙ КОД. ИНДИВИДЫ И УНИВЕРСАЛИИ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

М.Н. ЭПШТЕЙН

...Строго говоря, есть только идеи, и в то же время только индивидуумы.
А. Шопенгауэр. О бессмертии

Общие категории и личные коды. Личность как субъект и предикат

Язык гуманитарных наук распадается на два типа знаков: общие термины, обозначающие универсалии, и имена собственные, обозначающие индивидов. Например, в литературоведении говорится, с одной стороны, о жанрах, методах, направлениях, композиции, сюжете, с другой – о Шекспире, Гёте, Пушкине, Толстом и т.д. Характерны сочетания личных имен и общих терминов: «метафора у Шекспира», «символика Данте», «поэма Пушкина», «футуризм Маяковского» и т.п.

Однако между личными именами (индивидами) и общими терминами (универсалиями) существует еще и промежуточная концептуальная зона, мало очерченная и осмысленная: категории, образованные от самих имен, или универсность самих индивидов. *Шекспировское*, *гётевское*, *пушкинское*, *толстовское*, *набоковское*... Эти именные термины, или терминированные имена указывают на личные коды их создателей: не просто на индивидов в биографическом и историческом плане, но на выстроенные ими универсумы, модели мироздания. «Шекспировское» или «толстовское» – это знаки универсных индивидуальностей, или индивидуальных универсумов, и они-то представляются мне решающим связующим звеном между личными именами и общими терминами, которыми оперируют гуманитарные науки (философия, филология, психология, история, культурология, искусствознание...).

Совокупность авторских высказываний (произведений Шекспира или Толстого) содержит в себе свой собственный язык, систему знаков и правил их сочетания. В отличие от общенародного, естественного языка (русского, английско-

го и т.д.), эти индивидуальные языки уместно называть «кодами», поскольку они носят искусственный характер, они создаются автором на основе тех языков, которые он получает в наследство (национальный, эпохальный, научный, художественный и прочие языки). Например, *пушкинское* – это личный код Пушкина, созданный им на основе русского языка, языка поэзии начала XIX в., языка Просвещения, романтизма и т.д.

Следует отличать личный код от индивидуального стиля (идиостиля): последний относится к своеобразию речи, стилевого поведения данного автора. Личный код – это явление не индивидуальной речи, а индивидуального языка, т.е. той системы знаков (концептов, категорий, универсалий), которая производит всю совокупность индивидуальных сообщений, но остается скрытой в них. Личные коды играют огромную роль в культуре. По сути, в литературе и нет ничего, кроме *шекспировского*, *дантовского*, *толстовского*... ничего другого, отличного от созданного всеми писателями, от А до Я, от великих до самых маленьких. Можно даже считать, что универсалии, т.е. общие, нарицательные категории – это лишь удобные абстракции, помогающие нам сравнивать и оценивать индивидуальное. Вот байроновская поэма, вот пушкинская, вот лермонтовская... «Поэма» здесь – это способ сопоставить *байроновское*, *пушкинское* и *лермонтовское*, т.е. обогатить наше представление о личных кодах путем нахождения их общих признаков (общий трем названным писателям жанр – поэма; направление – романтизм, и т.д.).

Общие категории и авторские личности образуют взаимодополнительные «гештальты» теоретического поля, подобно тому, как одни и те же узоры на рисунках М.К. Эшера могут быть увидены как птицы или рыбы. Взгляд на литературу может выделить в ней жанры, приемы, идеи и направления, заполняемые бесчисленными именами писателей, которые наглядно представляют и иллюстрируют эти общие категории. И наоборот, мы можем увидеть в литературе множество личных кодов, обозначенных именами писателей – и пересеченных общими категориями, которые служат для наглядного сопоставления и более глубокой индивидуализации этих кодов. Персоналистический подход

все еще гораздо менее развит в гуманитарных науках и поэтому нуждается в особом внимании и теоретической разработке. В еще большей степени это относится к личным кодам самих ученых-гуманитариев: лингвистов, философов, историков, литературоведов, которые привлекают внимание гораздо реже, чем общие концепты и категории, обсуждаемые в соответствующих дисциплинах. Между тем очевидно, что философия – это *декартовское*, *кантовское*, *ницшевское* не в меньшей степени, чем такие категории, как *идея, разум, субстанция, тождество, истина,* и т.д. А российское литературоведение – это *тыняновское, бахтинское, лотмановское, аверинцевское, топоровское*...

Причем эти личные коды – писателей, литературоведов, философов – далеко не ограничиваются их собственными произведениями. Например, *пушкинское* можно найти не только в сочинениях самого Пушкина, но и у Лермонтова, и у Мандельштама, и у Набокова, – в той степени, в какой они пользовались пушкинским кодом для решения своих художественных задач. *Пушкинское* можно найти даже у предшественников Пушкина, например, у Батюшкова или Державина, в той мере, в какой их отдельные строки и образы предвещают пушкинский код. Здесь позволительно предложить терминологическое расширение и говорить не только о пушкинском, но и о *пушкинианском*, не только о набоковском, но и о *набоковианском*, а также *шекспирианском, гётеанском, кантианском, гегельянском, ницщеанском, чеховианском, бахтианском*, в их отличие от шекспировского, гётевского, ницшевского, чеховского, бахтинского и т.д. Это суффиксальное наращение «ан», уже употребляемое в ряде категориальных прилагательных от имен собственных («кантианский», «ницшеанский» и т.п.), указывает на трансперсональные свойства личного кода, который перешагивает границы творческой идентичности данного автора и становится общим предикатом культурных явлений. *Кафковское* свойственно только Францу Кафке, тогда как *кафкианское* можно найти у множества писателей, живших как после Кафки, так и задолго до него. Например, Х.Л. Борхес нашел *кафкианское* у древнегреческого философа Зенона (в его абсурдистских апориях, вроде Ахиллеса и черепахи), у китайского автора IX в. Хань

Юя и датского мыслителя С. Кьеркегора (см. эссе Борхеса «Кафка и его предшественники»). Ницшевское – это то, что присуще Фридриху Ницше и только ему; *ницшеанское* – это личный код Ницше, которым шифруется определенного рода политика, мораль, поэзия, архитектура, этническая теория, творимые уже без личного участия Ницще. Ницше может рассматриваться как субъект некоей деятельности (Ницще жил, ходил, путешествовал, дружил, думал, писал...) – и как ее предикат. Например, М. Горький или Вяч. Иванов как индивиды были отличны от Ницще, но они «ницшеанствовали», т.е. в той или иной степени имели Ницще своим предикатом, усваивали его личный код. «*Ниццеанствовать*» – значит думать, мечтать, говорить, действовать в духе, манере Ницше, и в принципе самые разные субъекты – индивиды, партии, художественные течения – могут временно или постоянно характеризоваться этим предикатом.

Такие личностные, именные предикаты, а не только субъекты, переполняют собой культуру и определяют ее национальную и эпохальную специфику. Все участники семиосферы под названием «русская культура» в той или иной степени *пушкинствуют, толстовствуют, достоевствуют, чайковствуют, станиславствуют* и т.д., т.е. пользуются в своей самореализации личными кодами, внесенными в русскую культуру названными индивидами. Некоторые имена выходят за границы национальной культуры и становятся предикатами мировой. *Достоевствовали* – или *достоевничали* (в сниженном варианте имитации, внешнего воспроизведения, или подражательства) – и В. Розанов, и Т. Манн, и А. Жид, и А. Камю, и У. Фолкнер, и Л. Леонов... – и множество менее известных писателей во всем мире.

Некоторые же имена становятся предикатами только в пределах узкого круга домашних, знакомых, друзей. Я глубоко убежден, что каждая личность, независимо от степени ее влияния, признанности, известности, есть не только субъект определенного культурного кода, но может выступать и как предикат мышления и поведения других субъектов. Например, в детстве у меня была няня по имени Шура, она пять лет прожила в нашей семье. Я ее любил, я ею воспитывался и, естественно, что я «*шуровал*», т.е. вел себя «*по-*

шуровски», определял себя в терминах ее личности, ее вкусов, пристрастий, представлений о мире. И до сих пор я «*шурую*», когда, например, со сладкой ностальгией вслушиваюсь в популярные лирические песни 1950-х годов, которые любила няня Шура, родом из деревни. Вокруг каждой личности образуется система кодов, так или иначе передаваемых и усваиваемых другими, – будь то манера готовить определенные блюда, развешивать занавески, укладывать волосы, подбирать цвета – «как мама», «как тетя», «как Саша», «как Николай Петрович». Все мы, редко отдавая себе в этом отчет, «сашествуем» или «николайпетровничаем», а не только «пушкинствуем» или «ленинствуем». Все мы пользуемся личными кодами наших близких, друзей, знакомых, а не только кодами выдающихся, прославленных личностей. Разумеется, код «няня Шура» и код «Пушкин» имеют разные степени универсальности, один узкосемеен, другой всенароден или даже всемирен. Но и у Пушкина была своя няня, Арина Родионовна, которая тоже стала предикатом ряда его жизненных и художественных проявлений; например, Пушкин «аринродионствовал» в своих сказках, отчасти и в лирике («Зимний вечер»).

Эта предикатность каждого имени, способность каждой личности быть для других не только конкретным, поименованным «кем», но и «чем», и «как», определяет все сложение культуры: от ее семейных и домашних до исторических и глобальных уровней. Каждый субъект становится предикатом для кого-то другого – любящих, близких, семьи, народа, всего человечества.

Утопическое, гипотетическое, интересное

Теперь мне предстоит самая трудная задача – опредикатить себя как субъекта, определить «эпштейновское». Я долго колебался: уместно ли говорить о своем личном коде? Конечно, в этом есть проявление нескромности. Но, с другой стороны, когда гуманитарий занимается концептуальными построениями, не выявляя и не оговаривая своего личного кода, он впадает в еще худшую нескромность, поскольку затушевывает субъективность своих построений и придает им статус надличной объективности. Может быть,

это уместно в естественных науках, но вряд ли в гуманитарных, которые имеют дело с «кто», а не с «что». Ю.М. Лотман, размышляя об исторической науке, спорит с Р.Дж. Коллингвудом, который считал задачей историка преодоление своей субъективности и полное вживание в историческую ситуацию и персонажа: скажем, идентифицировать себя с Цезарем. Согласно Лотману, напротив, требуется «не устранение исследователя из исследования (что практически и невозможно), а осознание его присутствия и максимальный учет того, как это должно сказаться на описании. ...Инструментом историко-культурного изучения должна стать типология с обязательным учетом историка и того, к какому типу культуры принадлежит он сам»[1]. А это в конечном счете и означает выявление личного кода, определяемого не только общим типом культуры, к которому принадлежит исследователь, но и его отличием от других исследователей внутри того же типа. Именно благодаря такому «персонализму», т.е. признанию и описанию своей позиции, он достигает наиболее объективных результатов. Так что гуманитариям вряд ли вообще можно обойтись без нескромного обнажения своего личного кода.

Я родился в самой середине века, в 1950 году, который в историю тысячелетий, возможно, войдет под названием «утопического». Советский Союз возглавил путь этого века к сияющим высотам, и до сих пор Россия сохраняет свой интерес для Запада прежде всего огромностью – нелепой, опасной, саморазрушительной – своего прежнего утопического проекта. Дух утопии окружал меня с детства. Мои родители были совершенно аполитичные люди, на маленьких должностях, в семейных и служебных заботах – план, смета, отчет. Не помню ни одного разговора в доме о политике, об истории, о Боге, о человечестве. Но вокруг меня витало огромное, всемирное. Это называлось: «преобразование мира». Я рос на границе славного настоящего своей страны со светлым будущим всего человечества, которое отбрасывало алые блики на наши флаги и галстуки. Всемирное было повсюду, мой код формировался этой советской герменевтикой всеобъемлющих «законов природы и общества», неумолимо ведущих к самоспасению человечества. Утопичес-

кое – одно из составляющих моего кода, оно родом из моего советского детства.

Но постепенно, уже в отрочестве и юности, оно отделилось от своих марксистских оснований. Ни классовая борьба, ни идеология социального детерминизма и исторического материализма не находили подтверждения в моем опыте. Так вырос мой асоциальный, персоналистичный утопизм: ощущение всемирности, бесконечной значимости именно тех вещей, которые не входят ни в какие социально значимые категории, выпадают из ведения философов и политических стратегов, молча скрываются и гибнут на периферии всех больших мировоззрений, неопознанные, семантически почти пустые, минимальные. Меня повернуло в сторону Акакия Акакиевича и его собратьев среди людей и явлений, всех «малых сих». Мне хотелось думать и писать о песчинках, о насекомых, о повседневности, о тончайших и скромнейших вещах, при этом сохраняя и даже увеличивая масштаб их рассмотрения до вселенского. В значительной степени моя эссеистика состоит из таких малостей, сознательно и подчас гротескно преувеличенных, вброшенных в утопическую перспективу (*двухтомник «Все эссе»: т.1 «В России»; т.2 «Из Америки», 2005*).

Этот метод можно назвать «микромегатическим» (это слово, буквально значащее «маловеликое», известно по повести Вольтера «Микромегас», – так зовут пришельца с Сириуса, великана, который рассматривает в микроскоп крошечных землян). Для меня важно в каждой работе предлагать какой-то большой, принципиальный, порой даже всемирно-исторический вопрос. Но при этом очерчивать его – с неожиданной диспропорцией масштабов – в границах какого-то конкретного, частного предмета. Например, в одной из статей я обсуждаю метафизическую проблему демонического на материале пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», которая оказывается комической парафразой того же сюжета – борьба царя с морской стихией и ее ответная месть, – одновременно, в октябре 1833 г., трагически развернутого А. С. Пушкиным в «Медном всаднике». «Разбитое корыто» старухи – микромодель не только протекающего корабля, но и всего охваченного наводнением Пе-

тербурга. В текст вписана большая картина мира, которая передается маленькой, но чрезвычайно укрупненной деталью (см. статью «Медный всадник и золотая рыбка: поэма-сказка Пушкина» в моей книге «Молчание и слово. Метафизика русской литературы» – М., 2006).

Итак, это не чистый, а скорее *укрощенный* утопизм, который сочетается с крупнозернистой фактурой какого-то маленького факта, текста или культурного эпизода и тем самым сознательно выявляет свою гротескность, впрямую сополагая «микро-» и «мега-». Другим способом укрощения утопизма является его переход из императивной в гипотетическую модальность. Это не такой утопизм, который повелевает миру, требует определенных преобразований, скорее, он предлагает некие возможности, гипотезы, не утверждающие своего статуса последней истины или непререкаемого долженствования. Это утопизм в сослагательном наклонении – гипотетизм. Гипотетический дискурс отличается неравномерностью и прерывистостью своего логического поля. Он отчаянно смел в своих посылках, задающих новое, небывалое видение мира. Но вместе с тем он мягок и кроток в своих выводах, относящихся к истинности мыслительных конструкций, их реальному наполнению и практическому применению. Дерзость посылок сопрягается с кротостью выводов, что делает этот тип мышления наиболее парадоксальным, взрывчатым, сравнительно с чисто дескриптивным (позитивистским) или чисто утопическим (идеологическим) мышлением, которые стремятся освободиться от внутренних противоречий ради наиболее эффективного взаимодействия с действительностью: ее описания или предписания.

Мой текст обычно стремится к наиболее строгому обоснованию наиболее странных утверждений. Это сочетание *странности* вывода и *строгости* выведения и задает с двух сторон критерий гипотетичности. Речь идет о пересмотре принципа очевидности, положенного Декартом в основание европейского мышления. Странные утверждения – это те, которые наиболее далеки от очевидности и в этом смысле противоположны Декартову критерию истины как «очевидного» или «непосредственно достоверного» знания. Но они противоположны также и тому типу «ходячих», «тра-

диционных» мнений, которым Декарт противопоставлял свой принцип очевидности и которые были основаны на власти обычая, предрассудка. «Странность» как категория суждения отличается и от общепринятого клише, и от логической очевидности, поскольку то и другое – и «традиционно-необходимое», и «рационально-истинное» – следуют принципу наибольшей вероятности. И хотя вероятность в одном случае трактуется как «наиболее вероятное мнение большинства людей», а в другом – как «наиболее вероятное заключение непредубежденного разума», общее между ними – опора на максимальную вероятность, которая в своем пределе совпадает с объективной истиной и всеобщей необходимостью. «Странность», напротив, конституирует суждения, наименее вероятные как для большинства людей, так и для самого разума, – противоречащие и общепринятому, и очевидному.

Конечно, каждый писатель, исследователь стремится создать нечто интересное, способное «изумить» читателя, изменить диспозицию его ума. Я полагаю, что именно переход наименее возможного в наиболее возможное составляет критерий интересного. Так, интересность научной работы или теории *обратно пропорциональна вероятности ее тезиса и прямо пропорциональна достоверности аргумента*. Самая интересная теория – та, что наиболее последовательно и неопровержимо доказывает то, что наименее вероятно. Наименее интересны теории: (1) доказывающие самоочевидный тезис, (2) приводящие шаткие доказательства неочевидного тезиса, (3) либо, что хуже всего, неосновательные в доказательстве самоочевидных вещей. Таким образом, интересность теории зависит не только от ее достоверности, но и от малой вероятности того, что она объясняет и доказывает. *Интересность – это соотношение, образуемое дробью, в числителе которой стоит достоверность доказательства, а в знаменателе – вероятность доказуемого.*

Вот почему известное изречение Вольтера: «все жанры хороши, кроме скучного» – применимо и к научным жанрам и методам. Скучность метода – это не только его неспособность увлечь читателя, но и признак его научной малосодержательности, когда выводы исследования повторяют его по-

сылки и не содержат ничего неожиданного, удивляющего. По этой причине мне претят все методологические жаргоны: марксистский, психоаналитический, структуралистский, деконструктивистский... Жаргон обеспечивает легкую самовоспроизводимость речи, которая «забалтывает», оскучняет свой предмет и не чувствительна к его сопротивлению, к его трудновыразимости. Подавляющее большинство марксистских работ, созданных в 1920 – 1930-е гг., в пору наибольшего международного интеллектуального влияния марксизма, сейчас совершенно нечитаемы. И сходная участь постигнет через несколько десятков лет деконструктивистский жаргон, который уже сейчас начинает отдавать фарсом, самопародией.

Автоматизация метода и языка – главный враг мышления. Мне представляется, что основные термины исследования должны рождаться из уникальности его предмета, в самом процессе мышления о нем, а не браться заведомо готовыми из иных источников. Терминация повседневного слова, которое постепенно «устрожается», наполняется обобщением, благопреки (и благодаря, и вопреки) своему начальному конкретному значению, – эта драма рождения нового термина есть одновременно и борьба с автоматизацией теоретического языка.

Рассматривая круг возможных идей или интерпретаций, я интуитивно выбираю наименее очевидные – и прилагаю к ним наибольшую силу последовательности, мне доступной. В этом для меня есть не только научный, но и моральный смысл: любовь к малым сим, т.е. к наименьшим величинам в области умозрения, стремление их защитить перед лицом более сильных, самоочевидных, всесокрушающих истин. Этот риторический прием восходит еще к Протагору: выступить в поддержку самых слабых позиций, сделать слабейший аргумент сильнейшим. Для меня это не софистика, не чисто интеллектуальная игра, но примерно то же, что высказано в заповедях блаженства: «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Есть кроткие, беззащитные, малозаметные, пренебрегаемые идеи или зародыши идей, которые нуждаются в нашем внимании и интеллектуальной заботе. В мире много не только маленьких людей, но и маленьких идей, и мы за них в ответе, потому что когда-нибудь эти маленькие

идеи наследуют землю. Отверженные, невозможные идеи, вроде той, что параллельные линии пересекаются, тысячи лет пребывают в тени, чтобы потом стать светом науки. Самые значительные успехи современной физики и математики во многом обусловлены как раз поддержкой и развитием этой «нищей» идеи, отвергнутой Евклидом, но впоследствии изменившей наше представление о кривизне пространства. И разве абсурднейшая идея о том, что Бог может воплотиться в человеке и принести себя в жертву за грехи человечества, не легла в основу западной цивилизации? Камень, отвергнутый строителями, лег во главу угла, – эта притча имеет для меня не только теологический, но и эпистемологический смысл. Именно за наименее очевидными идеями – наибольшее будущее, поскольку научная картина мира время от времени взрывается, низы становятся верхами, ереси становятся догмами и в качестве таковых снова ниспровергаются, о чем убедительно писал Т. Кун в «Структуре научных революций».

Свобода читателя. Противомыслие и интеллектуальный катарсис

Выбирая «слабые», наименее очевидные идеи и предельно их усиливая, я одновременно стараюсь не давить ими на ум читателя. Я не хочу, чтобы идея-пария моими усилиями превращалась в идею-деспота. Деспотизм индивидов бывает не так опасен, как деспотизм идей, жертвами которого могут оказаться тысячи и миллионы людей. Не только в своем истоке, но и в итоге всей аргументации идеи должны оставаться кроткими, не навязывать себя читателю. «Я пишу не для того, чтобы быть правой», – заметила Гертруда Стайн. Больше всего я боюсь одержимости какой-нибудь идеей, неистового внедрения ее в чей-то мозг, магии самоповтора и заклинания. Разумеется, как автор я заинтересован в том, чтобы читатель согласился со мной, но одновременно мне хочется освободить его от гипноза той идеи, которую я пытаюсь до него донести. При этом я вступаю в противоречие с самим собой. Но мне представляется, что там, где есть мысль, есть место и для противомыслия.

Обычно считается, что задача пишущего – внушить читателю свое представление о мире, вызвать согласие с

собой. Для себя я бы иначе определил задачу: вызвать эффект согласия-несогласия, очищение от односторонностей, мыслительный катарсис (по аналогии с тем эмоциональным катарсисом, в котором Аристотель видит цель трагедии). Читатель вдруг постигает, что можно думать и так, и иначе, что *мышление содержит внутри себя противомыслие*, и этим раздвигается сама сфера мыслимого.

Даже у крупнейших мыслителей можно найти такие противоречия, которые вроде бы раскалывают их систему и служат объектом непрестанной критики. У Гегеля Абсолютная Идея, непрерывно саморазвиваясь, вместе с тем приходит к полному самопознанию в системе самого Гегеля. Маркс доказывает, что все исторические движения определяются материальным базисом – и вместе с тем, вопреки своему экономическому детерминизму, призывает к объединению рабочих и к коммунистической революции. Бахтин утверждает, что в полифоническом романе голоса персонажей звучат независимо от воли автора – и вместе с тем проистекают из его целостного художественного замысла. Именно те «противомыслия», которые оказываются наиболее уязвимыми для рациональной критики, и оказываются «дуговой растяжкой» теории, производящей катартическое, очищающее воздействие.

В некоторых моих текстах, особенно эссеистических, высказаны такие идеи, которые убеждают читателя ровно в той же степени, что и разубеждают. Эффект как будто получается нулевой, но в этом нуле скрыта фигура бесконечности. Читатель возвращается в исходный пункт не таким, каким вышел из него: он вступил в сложные, драматические отношения с идеей. Убежденно-разубежденное состояние ума больше соответствует полноте идеи, чем простая убежденность. Ведь полная истина парадоксальна, она содержит собственное опровержение. И только этой суммой (само)опровержений устанавливается такая идея, которая по-настоящему волнует и даже изумляет человеческий ум. Идея в моих текстах не равнодушна к доказательствам, напротив, она упорно доказывается, – именно для того, чтобы ее убедительность и неубедительность сошлись в конечной точке перспективы. В результате достигается своего рода катарсис, слияние двух линий: уверения и разуверения.

Я доказываю, например, что современная техника есть полнейшее воплощение романтического мироощущения. Эта сторона техники обычно замалчивается, уступая избитому представлению о ее антиромантической, прагматической сущности. Но разве телефон – не общение ангельских голосов, бесплотных существ, с дальних расстояний прильнувших друг к другу? Разве самолет – не отрыв от земной оболочки, чтобы сверху взглянуть на нее, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело»? Все любовные переживания современного человека заполнены техническими средствами преодоления расстояний (включая, конечно, компьютеры и e-mail). И сама техника связи, транспорта, информации – это любовный, витальный порыв людей навстречу друг другу телом, голосом и сознанием.

Такова тема одного из моих эссе, «Романтизм в технике». Но, конечно, и в этой беглой передаче читатель замечает натяжку. Основная идея вроде бы верна, но и не верна. Техника преодолевает физическую ограниченность человека, но физическими же средствами. Технические средства, разрастаясь сами из себя, обнаруживают пустоту и бедность того содержания, которое мы передаем с их помощью. Техника – это вовсе не любовь, а скорее, пародия на нее, поскольку пародия – это и есть, когда формальные средства превышают содержание. Техника, со своими ангельскими голосами и парениями, – это и апофеоз, и фарс небесно-прозрачного мира любви.

Значит, выдавать технику за чистейший романтизм – очевидная натяжка. Такими натяжками полны мои эссеистические тексты, задача которых – именно создать поле натяжения, согласия-несогласия между собой и читателем. Это и есть лук, из которого производится стрельба. Лук лукав. Стрела движется только потому, что тетива отклоняется от лука, мысль отклоняется от истины, но движение стрелы и есть энергия их совмещения. Текст указывает на истину жестом отступления от нее.

Овозможение. Потенциосфера

У Льва Толстого есть такая запись: «Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, проезжих,

прохожих, и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленных количеств возможностей других миров и других жизней и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую *мне кажется*, что я прохожу во времени» (*Дневник. 1 января 1900 г.*).

Такое ощущение, наверно, знакомо каждому, но это не только ощущение. В современной физике все больший вес приобретает «многомировая» интерпретация квантовой механики, предложенная американским физиком Хью Эверетом в 1950-е гг. (еще один пример возрастания поначалу совершенно незаметной, «бросовой» идеи, которую теперь, согласно недавнему опросу, разделяют две трети ведущих физиков). Эверетт предположил, что всякий микрообъект одновременно существует во множестве экземпляров, каждый из которых принадлежит своей особой параллельной вселенной.

Я не сторонник теоретического умножения вселенных, но я полагаю важным умножение возможностей и возможностного внутри нашего мироздания. *Умножение универсалий при сокращении универсумов создает наиболее онтологически богатый и модально разнообразный мир*. Один многомерный мир, с множеством возможностей, онтологически богаче множества возможных миров, где действуют только законы необходимости. Я вижу свою задачу гуманитария в том, чтобы не просто описывать существующие объекты (культурные, знаковые, текстовые), но и в том, чтобы воссоздавать мир их альтернатив, множественность совозможных им объектов. Например, если предмет моего интереса – определенное литературное направление или жанр, я пытаюсь очертить совозможные ему другие направления и жанры, тем самым модально растягивая бытие культуры, включая ее в область возможного. Этот метод я называю потенциацией, или овозможением. Так, в середине 1980-х годов я описал поэтические движения метареализма, концептуализма и презентализма в их соотносительности: одно делало возможным другое. Это была отчасти описательная, отчасти проективная поэтика – с заходом в будущее поэзии, в область ее потенциального развития. Теория не только описывает и анализирует свой наличный предмет, но и син-

тетизирует совозможные предметы, которые входят в растущее пространство культуры.

Собственно, культура – это и есть область возможностей: пишимостей, мыслимостей, воображаемостей. Смысл любого явления задается его потенциосферой. Например, смысл Октябрьской революции определяется лишь в контексте тех альтернативных путей, которыми могла бы пойти российская история осенью 1917 г. При этом в точке реализации каждой из возможностей происходит новое их ветвление, так что потенциосфера поступательно расширяется в истории: на единицу сущего приходится все больше единиц возможного, происходит потенциация всех областей культуры. Этот переход «быть» в «бы» витал в воздухе 1980-х, что отразилось в литературе: тема параллельной истории, событийных развилок в прошлом и настоящем, стала весьма популярной в постсоветской России. Прецедентом послужил роман В. Аксенова «Остров Крым», потом последовали тексты В. Шарова, В. Пелевина, А. Кабакова, Д. Быкова...

Гуманитарные науки не должны остаться в стороне от этой смены модальностей. У теории, как и у истории, появляется *сослагательное наклонение*, и оно требует перестройки всей системы научного мышления. Любое аналитическое определение предполагает наличие того, что *сопредельно определяемому*, т.е. содержит в себе косвенное указание на соотносимый, со-о-предел-яемый, виртуальный предмет, который следующим, синтетическим актом мышления вводится в состав культуры. Например, рассматривая письменную деятельность и ее главное условие – наличие белого поля, фона, – я придаю этому полю статус знака и, заключая в кавычки, ввожу его в систему письма: « ». Далее « » как альтернатива всему семейству письменных знаков и одновременно почетный член этого семейства может рассматриваться как первослово, философский знак абсолюта, чистого бытия, раскрываемого на границе языка и невыразимого (см. мою работу «” ”. Знак пробела, или К экологии текста»).

Рядом с наличными дисциплинами как их иное и возможное выстраивается ансамбль гипотетических дисциплин, наук в сослагательном наклонении. Как альтернатива феноменологии обосновывается возможность тегименологии (лат.

tegimen – покров) – науки о покрытиях, оболочках, упаковках, изучающей множественные слои предмета в связи с тем, что они скрывают собой. Альтернатива сексологии – эротология, гуманитарная наука о любви, о культурных и созидательных аспектах эроса. «Иное» культурологии – хоррология (horror – ужас), наука о саморазрушительных механизмах цивилизации, которые делают ее уязвимой для всех видов терроризма, включая биологический, компьютерный и информационный. «Иное» теософии и антропософии – технософия, изучающая «мудрость» техники, ее роль в нравственной и религиозной эволюции человека. «Иное» грамматологии – скрипторика, изучающая не письмо само по себе, а фигуру пишущего в его антропологическом, психологическом, историческом измерениях. Все эти параллельные дисциплины входят в состав потенциосферы, а по мере их разработки и освоения присоединяются к «реальным» дисциплинам, интегрированным в систему интеллектуальных профессий, научных институций, учебных курсов, университетских программ. Поэтому правильнее было бы говорить не о параллельных, а о перпендикулярных вселенных дискурса, которые пересекаются, входят в состав друг друга. Но даже если подобные гипо-дисциплины (hypo-disciplines, т.е. гипотетические, «недоутвержденные») не получат дальнейшей разработки, сама их возможность определяет процессы смыслообразования и знакообразования в «реальных» науках. Подобно тому как лингвистика делает возможной сайлентологию (silentology, науку о молчании, о паузах и пробелах как структурных единицах организации речи), так и сайлентология способна встречно обогатить лингвистику, например, внеся в нее вышеупомянутый знак « ».

Об этой потенциосфере, особенно стремительно растущей в посттоталитарную эпоху, написаны мои книги «Философия возможного» (СПб., 2001) и «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» (М., 2004). В свете этого возможностного подхода меняется сам статус гуманитарного исследования: оно не замыкается на объектах, наличных в культуре, но проектирует и продуцирует новые объекты, которые входят в область ее растущей потенциальности. Теория переходит в сумму практик, дополняющих, достраивающих

ее предмет. Это своего рода познавательно-производительный концептивизм (conceptivism), мышление как зачинание (conception) понятий, терминов, теорий, которые расширяют область мыслимого и говоримого.

Наиболее наглядно это проявляется на уровне языка, как специального, терминологического, так и литературного и разговорного. Анализируя язык, я обнаруживаю альтернативы существующим терминам, семантические и грамматические пробелы, которые заполняются в актах синтеза новых языковых единиц. Этой задаче языкового синтеза посвящена книга «Проективный философский словарь» (Под редакцией Г.Л. Тульчинского, М.Н. Эпштейна, 2003) и мой сетевой проект «Дар слова. Проективный лексикон русского языка»[2]. К настоящему моменту (август 2009) в лексиконе представлено 2400 слов и концептов (1500 моих и 900 других авторов) – тех, которых еще нет, но которые могут быть. Некоторые из них постепенно входят в речь, о чем свидетельствует легко исчисляемая частота их употребления в интернете (например, «осетить», «реал», «люболь», «хроноцид», «видеология», «общать», «инфиниция», «благоподлость», «ненавистливый», «осебейщик»...). Языку ничего нельзя насильно навязать, но можно и должно предлагать, отвечая на растущие запросы ноосферы и семиосферы. Проективный лексикон (он же и грамматикон) потенцирует структуру русского языка, «топографически» растягивает его лексические поля, демонстрирует семантическую и грамматическую эластичность его значимых элементов – корней и прочих морфем, вступающих в новые осмысленные сочетания. Современный русский (и любой естественный) язык – это только один срез языкового континуума, который распространяется в прошлое и будущее, и в нем виртуально присутствуют множество лексических единиц и грамматических конструкций, еще не опознанных, не выговоренных, но призываемых в речь по мере того, как расширяется историческое сознание народа, и в свою очередь его расширяющих. Дело филолога – всячески способствовать такой структурной и смысловой «растяжке», овозможению языка. Проективная и конструктивная филология пополняет языковой запас культуры, меняет ее гено-

фонд, умножая как лексические единицы языка, так и грамматические способы их сочетания.

Утопизм и поссибилизм. Личный код между именем и универсалиями

Здесь над моей мыслью опять нависает призрак утопии, о чем я говорил в самом начале. Но хочу подчеркнуть разницу между утопизмом, который проложил русло XX веку, и тем потенциализмом, поссибилизмом, который движет нами в веке XXI. Утопизм очерчивает некие прекрасные возможности – и требует их реализации, в результате чего бытие обедняется, многовариантность возможностей сокращается до одного должного, а затем и наличного варианта, тогда как все другие варианты отсекаются, революционно упраздняются. Вот почему самое страшное в утопиях, как заметил Н. Бердяев, – то, что они сбываются. Поссибилизм, который я исповедую, предполагает, напротив, онтологическое расширение бытия, множественность совозможных миров в составе нашего мироздания. Каждый предмет, каждое слово развертывают веер своих возможностей, способов своей инаковости, трансценденции, бытийное богатство иновещия, иномыслия, инословия.

Утопизм – это реализация возможного (или желаемого, принимаемого за возможное), его сокращение и сужение по мере такой реализации, отсечение всех альтернатив единственному идеалу. Поссибилизм – это, напротив, овозможение реальности, ветвление ее вариантов, умножение альтернатив, разрастание смыслов. Поссибилизм сохраняет в себе дух утопизма, но при этом как бы модально преобразует его, меняет местами вход и выход, расширяет, а не сужает путь мышления. Дышать воздухом возможностей, жить верой, надеждой, любовью, воображением, замыслом, предчувствием, предвосхищением, угадыванием, – такова эмоциональная основа поссибилизма, которая усиливает его интеллектуальные стратегии и очерчивает растущую множественность перспектив XXI века, многовариантность его развития. Если утопизм полагает впереди одно идеальное будущее, поссибилизм развертывает целый веер разнокачественных будущностей. Родившись в центре самой могущественной и нетерпимой утопии

XX века, в Москве 1950 г., я надеюсь на то, что дух утопизма, после всех своих крушений и разочарований, не упадет до отметки плоского позитивизма и эмпиризма, но преобразится сам и передаст свою преобразовательную энергию поссибилизму.

Личный код – это совокупность тех языковых знаков и культурных концептов, которые в их уникальном наборе и сочетании характерны именно для данного автора. Составляющими этого кода являются, очевидно, не столько знаки естественного языка, сколько элементы более высокого уровня – знаки языка культуры и ее теоретического описания: универсалии, категории, методы, направления, мировоззрения, приемы и типы мышления. *Утопическое, микромегатическое, строгое и странное, интересное, интеллектуальный катарсис, противомыслие, овозможение, концептивизм, поссибилизм* – все эти общие категории, пересекаясь и срастаясь, образуют то, что я ощущаю как свое, «эпштейновское». Совокупность этих знаковых единиц и правил их сочетания, условно говоря, и составляет мой личный код, причем степень «личностности», а значит и новизны, «неологичности» у всех этих знаков далеко не одинаковая.

«Строгое» и «странное» – общеразговорные слова, но в моем контексте они терминируются, становятся знаками теоретических понятий («строгое обоснование странных утверждений»). «Утопическое» и «интересное» – общепринятые термины, но второй из них определяется у меня как соотношение достоверного и невероятного, т.е. представляет собой семантический неологизм. «Противомыслие» и «поссибилизм» употребляются крайне редко и никогда – в том значении, которое им придается у меня: это нечто среднее между семантическими и лексическими неологизмами. А вот такие понятия, как «овозможение» и «концептивизм», – это собственно лексические неологизмы, т.е. сами эти знаки впервые вводятся в язык. По своей «идиостильности» они приближаются к имени собственному. «Овозможение» – это термин столь же персональный, как и имя его автора, и встречается лишь в связке с ним; нарицательным он станет, если будет усвоен другими исследователями. Так что между двумя полюсами личного кода – именем автора и системой используемых им знаков (универсалий, катего-

рий, концептов, терминов) – можно выделить ряд переходных ступеней, интервалы собственности-нарицательности.

Итак, мой личный код вырисовывается как пучок общих категорий, сходящихся в имени своего носителя. Но это – последствие теоретического самоописания. На практике же я всеми силами стараюсь, напротив, разойтись из точки «эпштейновского» во все возможные стороны, генерировать как можно больше концептов (мыслимостей, чувствуемостей, говоримостей), которые могли бы применяться к самым разным явлениям и неожиданно, непредсказуемо их освещать. Такая взаимопульсация личного кода и общих категорий, стяжение знаков-понятий в собственное имя и их разбегание от имени, и составляет ту динамику семиосферы, о которой я говорил вначале.

В заключение подчеркну: в принципе любое личное имя – кодово, соотносимо с множеством общих категорий, уникальное сочетание которых в свою очередь переводится обратно в это имя, хотя имя и остается не переводимым до конца на язык универсалий. По мысли П.А. Флоренского, «имя – новый высший род слова и никаким конечным числом слов и отдельных признаков не может быть развернуто сполна. Отдельные слова лишь направляют наше внимание к нему»[3]. Каждый человек имеет свое имя (ему известное) и свою (часто ему неизвестную) систему понятий и универсалий, которыми он характеризует свой мир и которыми мир может характеризовать его самого. Собственно задача гуманитарных наук и состоит в том, чтобы осуществлять эту операцию перевода с языка индивидов на язык универсалий, чтобы каждый человек мог быть постигнут одновременно как уникум (со своим именем) и универсум (с только ему присущим набором универсалий).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Лотман Ю.М.* Семиосфера. – СПб., 2000. – С. 388.

[2] «Дар слова» выходит с 17 апреля 2000 г. еженедельно в виде электронной рассылки, у которой 3600 подписчиков. Заглавная страница: http://www.emory.edu/INTELNET/dar0.html. Подписка на «Дар» (бесплатная): http://subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon.

[3] *Флоренский П.А.* Имена // Соч. В 4 т. Т. 3(2). – М.: Мысль, 2000. – С. 175.